

Бенгт Янгфельдт. Комнаты Иосифа Бродского

Почти каждое лето с 1988 по 1994 год Иосиф Бродский проводил несколько недель в Швеции, и многие из его произведений — поэтических, прозаических, драматических — были написаны здесь. Так, например, книга о Венеции („Набережная неизлечимых“) была частично написана в Стокгольме, в угловом номере гостиницы „Рейзен“ с белым трехмачтовым „af Charman“ („af Чапман“) перед глазами: „Как только выходишь из отеля, с тобой, выпрыгнув из воды, здороваются семга“.

Комната в „Рейзен“ была обычным, довольно большим гостиничным номером. Не слишком большим, но на грани того, что выносил Бродский. Тем не менее ему удавалось здесь работать: возможно, давящий излишек площади компенсировался видом на самую ему дорогую стихию — воду, эту форму сконденсированного времени.

Размер комнат, их планировка постоянно занимали Бродского, поскольку он постоянно нуждался во временном помещении для работы. Каждое летнее полугодие он проводил в Европе, спасаясь от нью-йоркской жары, смертельной для сердечника. Те его друзья, которые год за годом старались, по мере возможности, обеспечить поэту необходимый ему рабочий покой в Лондоне, Париже, Риме или Стокгольме, знают, как это было нелегко. Даже те, кто считал, что кое-что знает о его вкусах, не могли предугадать, как отреагирует поэт на предложенный метраж. Вода, вид из окна, свинцовые волны — в теории сходились, но он отказывался или не мог решиться, и ничего не получалось.

Несколько раз Бродский подолгу, то есть пока денег хватало — обычно пару недель, жил на борту корабля-гостиницы „Мэлартроттнинген“. Каюта была крошечная, едва повернуться, но хлюпающая близость воды с лихвой восполняла недостаток площади.

Два лета подряд он жил в двух разных квартирах на площади Карлплан в Стокгольме. В одной из них он выбрал комнату для прислуги, хотя уехавшие хозяева предложили ему парадные комнаты. Там было удобней, и к тому же шел чемпионат мира по футболу, а телевизор стоял именно в той части квартиры. Другая квартира была однокомнатной, и все грозило закончиться катастрофой уже на пороге: аскетически белые стены были увешаны того рода „современным“ искусством, которое Бродский не выносил: эта „дрянь двадцатого века“, единственная функция которой — „показать, какими самодовольными, ничтожными, неблагородными, одномерными существами мы стали“. Несмотря на это, он оставался там месяц с лишним и, в числе прочего, написал пьесу „Демократия!“. Он пробыл так долго частично потому, что интерьер в конечном итоге его заинтересовал: в этой смеси психбольницы с музеем современного искусства он видел объяснение тихому скандинавскому помешательству, как оно выражается, например, в фильмах Ингмара Бергмана. Но в этом проявлялась и важная черта характера самого Бродского: он постепенно обживал все помещения, где жил, и отъезд всегда был мукой, особенно если хорошо работалось. В любом случае причиной тому было не отсутствие альтернатив — гостиничные номера всегда имелись — и не деликатность: сбежавшему из дворца директора „фиата“ Агнелли в Милане не составило бы труда оставить однокомнатную квартиру в Стокгольме.

Одно лето он провел на даче у северного берега озера Веттерн; но чаще всего бывал в Стокгольме и в стокгольмских шхерах; та же природа, те же волны и те же облака, посетившие перед тем его родные края, или наоборот: такая же — хотя и более сладкая — селедка и такие же сосудорасширяющие — хотя и более горькие — капли ¹. На даче на острове Торё, с головокружительным видом на острый, как лезвие, горизонт, в августе 1989 года было написано стихотворение „Доклад для симпозиума“ с его эстетически-географическим кредо:

© Бенгт Янгфельдт, 1997

© Б. Янгфельдт, В. Азбель (перевод), 1997.

© „Im-Werden-Verlag“, 2000 <http://www.imwerden.de>
info@imwerden.de

Но, отделившись от тела, глаз
скорей всего предпочитает поселиться где-нибудь
в Италии, Голландии или в Швеции.

Но, как было сказано, рабочее пространство не должно было быть слишком большим. Если на участке стоял домик для гостей, он выбирал его. И в нашей квартире он сразу указал на облюбованное им место: балкон для выбивания ковров, размером примерно с каюту на „Мэларгроттингене“, возможно, немного меньше.

В любом случае не десять квадратных метров, как та комната, которая на всю жизнь определила представление Бродского об идеальном пространстве. Те десять квадратных метров были частью „полтора комнат“ в коммунальной квартире в центре Ленинграда, описанных им в одном из лучших воспоминаний детства по-английски в русской литературе. Там он жил до изгнания в 1972 году, там же умерли его родители, в отсутствие сына, спустя десять с лишним лет: Литейный проспект, 24, квартира 28.

„Моя половина, — пишет он, — соединялась с их комнатой двумя широкими арками, доходившими почти до потолка, которые я постоянно пытался заставить сложными конфигурациями из книжных полок и чемоданов, чтобы, отгородившись от родителей, обрести относительную степень покоя. Речь может идти лишь об относительной степени, поскольку высота и ширина арок плюс мавританское завершение их верхней части исключали окончательный успех дела“.

Строительство баррикады, начавшееся в пятнадцать лет, становилось все более ожесточенным, по мере того как книги и гормоны требовали своего. Переделав шкаф — отодрав заднюю стенку, но сохранив дверцы, — Бродский получил отдельный вход на свою половину: посетителям приходилось пробираться через эти дверцы и драпировку. А чтобы скрыть природу некоторых действий, происходивших за баррикадой, он включал проигрыватель и ставил классическую музыку. Со временем родители стали ненавидеть И. С. Баха, но музыкальный фон исполнял свою функцию, и „Марианна могла обнажить больше, чем только грудь“.

Когда, со временем, музыку стало дополнять тарактение „Ундервуда“, отношение родителей стало более снисходительным. „Это, — пишет Бродский, — было моим „Lebensraum“ (жизненным пространством). Мать убирала его, отец проходил его, направляясь в свою домашнюю фотолабораторию, иногда кто-нибудь из родителей искал пристанища в моем потертом кресле после перебранки. В остальном же эти десять квадратных метров были мои, и это были самые лучшие десять квадратных метров из всех, что я когда-либо имел“.

Бродскому никогда больше не довелось увидеть ни своих родителей, ни того Lebensraum, которое он почти с маниакальным упорством пытался воссоздать в других местах в течение оставшейся жизни. Он никогда не увидел своей комнаты потому, что никогда не вернулся в родной город; а не вернулся он в родной город потому, что его мышление — и действия — были линейными: „Человек двигается только в одну сторону. И только — ОТ. От места, от той мысли, которая пришла ему в голову, от самого себя“. Короче говоря, потому, что с тридцати двух лет он был кочевником — вергилиевским героем, осужденным никогда не возвращаться назад.

Тем не менее он много раз собирался, во всяком случае — мысленно. После получения Нобелевской премии, а главное, после падения тирании, когда появилась возможность вернуться, ему часто задавали вопрос, почему он не едет. Доводов было несколько: он не желал приезжать туристом в родную страну. Или: он не желал приезжать по приглашению официальных учреждений. Последний был: „Лучшая часть меня уже там — мои стихи“.

И все-таки он вернулся. В январе 1991 года в Ленинграде был организован первый симпозиум по творчеству Бродского. Однажды мы отправились на экскурсию к дому с полутора комнатами, и я отснял пленку, которую потом собирался отослать в Нью-Йорк. Это наверняка обрадует его, думал я: фотографии старых друзей перед его Lebensraum. Ведь почти такой же силы, что кочевой инстинкт поэта, была его противоположность: ностальгия.

Полплёнки было отснято в Стокгольме. Снимки, изображавшие Бродского, его жену и часть моей семьи, оказались спроецированными на снимки, сделанные в Ленинграде. На одной из фотографий он стоит у квартиры 28, на другой он смотрит вверх, на балкон полутора комнат, со Спасо-Преображенским собором на заднем плане.

Таким образом, Бродский все-таки вернулся в свою идеальную комнатку; если для этого потребовалась бракованная фотоплёнка, то, может быть, потому, что он был сыном фотографа.

Я долго размышлял, как это могло произойти, и наконец пришел к единственно возможному выводу: где-то посередине плёнка поменяла направление и шаг за шагом отмоталась к первому кадру — к полутора комнатам. Иными словами, „Кодак“ совершил то движение, на которое сам Бродский был неспособен: назад.

¹ „Горькие капли“ — название любимой шведской водки Бродского.

Перевод со шведского Б. Янгфельдта и В. Азбеля

Бенгт Янгфельдт (род. в 1948 г.) — специалист по русской литературе XX века, автор многих исследований, в том числе „Переписка В. Маяковского с Л. Брик“ (1991), „Роман Яacobсон — бюджетянин“ (1992). Редактор журнала Шведской Академии „Artes“. Перевел на шведский язык шесть книг прозы и поэзии Иосифа Бродского. Живет в Стокгольме. Первоначально публикуемая статья была напечатана в стокгольмской газете „Svenska Dagbladet“ (15.12.1996).